

Осенние цветы — текст 2 из 2

Мой милый, сердитый друг! Я потому пишу — сердитый, что заранее воображаю себе: сначала ваше изумление, а потом негодование, когда вы получите это письмо и узнаете из него, что я не сдержала слова, обманула вас, уехав внезапно из города, вместо того чтобы ждать вас завтра вечером, как это было условлено, в моей гостинице. Дорогой мой, я просто-напросто бежала от вас, или нет, вернее — от нас обоих, бежала от того мучительного, неловкого и ненужного, что неминуемо должно было произойти между нами.

И не торопитесь с едкой улыбкой на губах обвинять меня в спасительном благоразумии: ведь вам больше всех на свете известно, как оно покидает меня в самых нужных случаях! Бог свидетель, до последней минуты я не знала, поеду ли я на самом деле, или не поеду. Вот и теперь я совсем не уверена в том, что до конца устою против нестерпимого соблазна еще один раз, хоть мельком, хоть издали взглянуть на вас.

Я даже не знаю, удержусь ли я от того, чтобы не выскочить из вагона после третьего звонка, и потому, окончив это письмо (если только мне удастся его окончить), я отдам его носильщику и прикажу ему опустить письмо в ящик в тот самый момент, когда поезд тронется. А я буду из окна следить за ним и чувствовать, точно при прощании с вами, как тоскливо, тоскливо сожмется мое сердце.

Простите меня: все, что я говорила вам о лиманах, о морском воздухе и о докторах, будто бы улавливающих меня сюда из Петербурга, все это было неправдой! Я приехала только потому, что меня вдруг неудержимо потянуло к вам, потянуло снова изведать хоть жалкую частицу того горячего, ослепительного счастья, которым мы когда-то наслаждались расточительно и небрежно, точно сказочные цари.

Я думаю, из моих рассказов вы могли составить себе довольно ясное понятие об образе моей жизни среди того громадного зверинца, который называется петербургским обществом. Визиты, театры, балы, обязательные четверги у нас, благотворительные базары и т. д. и т. д., и во всем этом я должна участвовать в качестве красивой вывески над служебными и коммерческими делами мужа. Только, пожалуйста, не ждите от меня избитой тирады о мелочности, пустоте, пошлости, лживости, — я уж не помню, как это говорится в романах, — нашего общества. Я втянулась в эту жизнь, полную комфорта, приличных манер, свежих новостей, связей и влияний, и у меня

никогда бы не хватило сил от этой жизни отказаться. Но сердце мое не участвует в ней. Мечутся предо мной какие-то люди, говорят какие-то слова, и сама я что-то делаю, что-то говорю, но ни люди, ни слова не затрагивают моей души, и мне минутами кажется, что все это происходит где-то в страшном отдалении от меня, точно в книге или на картине, точно «понарочку», как выражалась когда-то моя нянька — Домнушка.

И вдруг среди этой тусклой и равнодушной жизни меня, точно волной, взмыло наше милое, сладкое прошлое. Случалось ли вам когда-нибудь проснуться под впечатлением одного из тех странных снов, которые так радостны, что после них целый день ходишь в каком-то блаженном опьянении, и в то же время так бедны содержанием, что если их рассказать не только постороннему, но даже самому близкому человеку, — выйдет ничтожно и плоско до смешного. Рассказывающие хорошо свои сны часто лгут, говорит у Шекспира Меркуцио, и — боже мой, какая в этом глубокая психологическая правда!

Ну, так вот и я однажды проснулась утром после такого сна. Я видела себя в лодке вместе с вами где-то далеко-далеко в море. Вы сидели на веслах, а я лежала на корме и глядела в голубое небо. Вот и все. Лодка тихонько покачивалась, а небо было такое глубокое, что мне временами казалось, будто я гляжу вниз в бездонную пропасть. И какое-то непостижимое, радостное чувство так нежно, так гармонично овладело моей душой, что мне захотелось в одно и то же время заплакать и засмеяться от избытка счастья. Я проснулась, но этот сон остался в моей душе, точно прирос к ней. Небольшим усилием воображения мне часто удавалось вызывать его в памяти и вместе с этим вновь испытать слабую тень той радости, которая его сопровождала.

Иногда это случалось в гостиной, во время какого-нибудь пустого разговора, который слушаешь не слыша, и тогда я должна была закрывать на несколько мгновений руками глаза, чтобы не выдать их неожиданного сияния. О, как сильно, как неотступно повлекло меня к вам. Точно живая, воскресла предо мной пленительная волшебная сказка, в которой промелькнула шесть лет тому назад под ласковым южным небом наша любовь. Все мне вдруг вспомнилось: внезапные ссоры, с нелепой ревностью и смешными подозрениями, и веселые примирения, после которых наши поцелуи приобретали новую прелесть первого поцелуя; нетерпеливые ожидания в условленном месте; чувство тоскливой пустоты в те минуты, когда мы, расставшись вечером, чтобы сойтись опять на другой день утром, по многу раз оборачивались одновременно назад и издали, из-за плеч разделявшей нас толпы, розовой от пыльного солнечного заката, встречались глазами;

вспоминалась мне вся эта сверкающая жизнь, полная могучего, неудержимого счастья!

Мы не могли усидеть на месте. Нас жадно тянуло к новым местам и новым впечатлениям. Как хороши были наши далекие поездки в этих допотопных, душных дилижансах, завешанных грязной парусиной, в обществе хмурых немцев, с жилистыми красными шеями, с лицами, точно вырезанными грубо из куска дерева, и чинных тощих немок, которые делали широкие, изумленные глаза, прислушиваясь к нашему сумасшедшему хохоту. А эти случайные завтраки у какого-нибудь «доброго, старого, честного колониста», под тенью цветущей акации, в глубине маленького, чистенького дворика, обнесенного белой низкой стеной и усыпанного морским песком? С каким невероятным аппетитом набрасывались мы на жареную скумбрию и на местное мутное и кислое вино, не переставая делать тысячи нежных и смешных глупостей, вроде того исторического дерзкого поцелуя, который заставил всех дачников в негодовании обернуться к нам спинами. А теплые июльские ночи на тонях?.. Помните ли вы этот удивительный лунный свет, который был так ярк, что казался преувеличенным, неправдоподобным; это спокойное озаренное море, играющее переливами серебристого муара, а на его блестящем фоне темные силуэты рыбаков, которые, выбирая сети, однообразно и ритмично, все сразу наклоняются в одну и ту же сторону?

Но иногда нами овладевала потребность в городском шуме, в сутолоке, в чужих людях. Затерявшись в незнакомой толпе, мы бродили, прижавшись друг к другу, и еще теснее, еще глубже сознавали нашу взаимную близость. Помните ли вы это, дорогой мой? Что касается меня, я помню каждую мелочь и болею этим. Ведь это все мое, оно живет во мне и будет жить всегда, до самой смерти. Я никогда, если бы даже хотела, не в силах отделаться от него... Понимаете ли, — никогда; а между тем его на самом деле нет, и я терзаюсь сознанием, что не могу еще раз по-настоящему пережить и перечувствовать его. Бог или природа, — я уж не знаю, кто, — дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего.

Получив мою короткую записочку, которую я послала вам из гостиницы, вы тотчас же поспешили ко мне. Вы торопились и были взволнованы: это я узнала издали по вашим скорым, нервным шагам и по тому еще, что, прежде чем постучаться, вы довольно долго стояли в коридоре около моего номера. Я сама взволновалась в эту минуту не меньше вас, представляя себе, как вы стоите там, за дверью, всего в двух шагах от меня, бледный, крепко притиснув руку к сердцу, глубоко и трудно переводя дыхание... И почему-то в то же

время мне казалось невозможным, несбыточным, что я сейчас, через несколько секунд, увижу вас и буду слышать ваш голос. Я испытывала настроение, похожее на то, которое бывает в полусне, когда довольно ясно видишь образы, но вместе с тем, не просыпаясь, говоришь себе: это неправда, это — сон.

Вы изменились за это время, возмужали и как будто бы выросли; черный сюртук идет к вам гораздо больше, чем студенческий мундир, манеры у вас стали сдержанней, глаза смотрят уверенней и холодней, модная остроконечная бородака положительно красит вас. Вы нашли, что я тоже похорошела, и я охотно верю, что вы сказали это искренно, тем более что я прочла это в вашем первом, беглом и несколько удивленном взгляде. Ведь каждая женщина, если она не безнадежно глупа, никогда не ошибется насчет того впечатления, которое произвела ее наружность...

Когда я ехала сюда, то всю дорогу, сидя в вагоне, старалась представить себе нашу встречу. Признаюсь, я никак не думала, что она выйдет такой странной, напряженной и неловкой для нас обоих. Мы обменивались незначительными, обыденными словами о моей дороге, о Петербурге, о здоровье, но глазами мы пытливо всматривались в лица друг друга, ревниво отыскивая в них новые черты, наложенные временем и чужой, незнакомой жизнью... Разговор у нас не вязался. Начав его на «вы», в искусственно-оживленном тоне, мы оба скоро почувствовали, что нам с каждой минутой становится все тяжелее и скучнее его поддерживать. Между нами как будто бы стояло какое-то постороннее, громоздкое, холодное препятствие, и мы не знали, каким образом удалить его.

Весенний вечер тихо угасал. В комнате сделалось темно. Я хотела позвонить, чтоб приказать принести лампу, но вы попросили меня не зажигать огня. Может быть, темнота способствовала тому, что мы решились, наконец, коснуться нашего прошлого. Мы заговорили о нем с той добродушной и снисходительной насмешкой, с какой взрослые говорят о своих детских шалостях, но, странно, чем больше мы старались притворяться друг перед другом и сами перед собой — веселыми и небрежными, — тем печальнее становились наши слова... Наконец мы и совсем замолчали и долго сидели — я в углу дивана, вы — на кресле, — не шевелясь, почти не дыша. В открытое окно к нам плыл смутный гул большого города, слышался стук колес, хриплые вскрикивания трамвайных рожков, отрывистые звонки велосипедистов, и, как это всегда бывает весенними вечерами, эти звуки доносились до нас смягченными, нежными и грустно-тревожными. Из окна была видна узкая полоса неба — цвета бледной вылинявшей бронзы, — и на ней резко чернел силуэт какой-то крыши с трубами и слуховой вышкой, чуть-чуть сверкавшей

своими стеклами. В темноте я не различала вашей фигуры, но видела блеск ваших глаз, устремленных в окно, и мне казалось, что в них стоят слезы.

Знаете ли, какое сравнение пришло мне в голову в то время, когда мы молчали, перебирая в уме наши милые, трогательные воспоминания? Мы точно встретились с вами после многих лет разлуки на могиле человека, которого мы оба любили когда-то одинаково горячо. Тихое кладбище... весна... везде молодая травка... сирени цветут, а мы стоим над знакомой могилой и не можем уйти, отряхнуться от объявших нас смутных, печальных, бесконечно милых призраков. Этот покойник — наша старая любовь, дорогой мой!

Вы вдруг прервали молчание, вскочив с кресла и резко его отодвинув.

— Нет, так нельзя! Мы совсем измучим себя! — воскликнули вы, и я слышала, как тоскливо задрожал ваш голос. — Ради бога, пойдемте на воздух, потому что иначе я расплачусь или сойду с ума!..

Мы вышли. В воздухе была уже разлита полупрозрачная, мягкая, смуглая тьма весеннего вечера, и в ней необыкновенно легко, тонко и четко рисовались углы зданий, ветки деревьев и контуры человеческих фигур. Когда мы прошли бульвар и вы подозвали коляску, я уже знала, куда вы хотите меня повезти.

Там все по-прежнему. Огромная площадка, плотно утрамбованная и усыпанная крупным желтым песком, яркий голубой свет висячих электрических фонарей, резвые, бодрящие звуки военного оркестра, длинные ряды легких мраморных столиков, занятых мужчинами и женщинами, стук ножей, неразборчивый и монотонный говор толпы, торопливо снующие лакеи, — все та же подмывающая обстановка дорогого ресторана... Боже мой! Как быстро, безостановочно меняется человек и как постоянны, непоколебимы окружающие его места и предметы. В этом контрасте всегда есть что-то бесконечно печальное и таинственное. Знаете ли, попадались мне иногда дурные квартиры, даже не просто дурные, а отвратительные, невозможные и притом связанные с целой кучей неприятных событий, огорчений, болезней. Переменишь такую квартиру, и прямо кажется, что в царство небесное попал. Но стоит через неделю-другую проехать случайно мимо этого дома и взглянуть на пустые окна с приклеенными белыми билетиками, и — душа сожмется от какого-то мучительного, томного сожаления. Правда, было здесь гадко, было тяжело, но все-таки здесь как будто бы осталась навеки целая полоса твоей жизни, — невозвратимая полоса!

Так же, как и раньше, у ворот ресторана сидят девушки с корзинами цветов. Помнишь, ты всегда выбирал для меня две розы: темно-карминную и чайную?

Когда мы проходили мимо, я по внезапному движению твоей руки заметила, что ты и теперь хочешь сделать то же самое, но ты вовремя остановился, и как я тебе за это благодарна, милый!

Под сотнями любопытных взглядов мы прошли в легкую беседку, которая так дерзко повисла со страшной высоты над морем, что когда глядишь вниз, перегнувшись через перила, то не видишь берега и кажется, что плаваешь в воздухе. Под нашими ногами шумело море; сверху оно казалось таким черным и жутким! Недалеко от берега торчат из воды большие, черные, угловатые камни. На них то и дело набегали волны и, разбившись, покрывали их буграми белой пены; когда же волны уходили назад, то отшлифованные прибоем мокрые бока камней блестели, как лакированные, отражая свет электрических фонарей. Иногда налетал легкий ветерок, насыщенный таким крепким, здоровым запахом морских водорослей, рыбы и соленой влаги, что от него сама собой расширялась грудь и вздрагивали ноздри...

А нас все сильнее, все тягостнее сковывало что-то нехорошее, скучное, принужденное... Когда принесли шампанское, ты, наливая мой бокал, сказал с мрачной шутливостью:

— Попробуем хоть искусственно приподнять себя. Выпьем этого храброго, доброго вина, как говорят пылкие французы.

Нет, нам все равно не помогло бы и храброе, доброе вино. Ты сам понимал это, потому что сейчас же прибавил с длинным вздохом:

— А помните, как мы с вами бывали от утра до вечера пьяны без вина, одной нашей любовью и радостью существования?

Внизу, в море, около камней показалась лодка. Большой, белый, стройный парус красиво раскачивался, опускаясь и подымаясь на волнах. В лодке слышался женский смех, и кто-то, должно быть, иностранец, насвистывал очень верно вместе с оркестром мелодии вальдтейфелевского вальса.

Ты тоже следил глазами за парусом и, не отрываясь от него, произнес мечтательно:

— Хорошо было бы теперь сесть в такую шлюпку и уехать далеко-далеко в море, так, чтоб берега не было видно... Помните, как в прежнее время?

— Да, умерло наше прежнее время...

Я сказала эту фразу совсем нечаянно, отвечая вслух на свои мысли, и тотчас же испугалась того неожиданного действия, которое произвели на тебя мои

слова. Ты вдруг так сильно побледнел и так быстро откинулся на спинку стула, что мне казалось, будто ты падаешь... Через минуту ты заговорил глухим, точно сразу охрипшим голосом:

— Как странно сошлись наши мысли! Я только что думал о том же самом. Мне представляется чем-то диким, невероятным, невозможным, что именно мы с вами, а не какие-то двое совсем посторонних нам людей шесть лет тому назад так безумно любили друг друга и так полно, так красиво наслаждались жизнью. Тех двоих давно нет на свете. Они умерли... умерли...

Мы поехали обратно в город... Дорога шла все время через дачные поселки, застроенные виллами местных миллионеров. Мимо нас проходили изящные чугунные решетки и высокие каменные стены, из-за которых свешивалась на улицу густая зелень платанов; огромные, все в резьбе, точно в кружевах, ворота; сады, увешанные гирляндами разноцветных фонарей; ярко освещенные роскошные веранды; экзотические растения в цветниках перед дачами, похожими на волшебные дворцы. Белые акации пахли так сильно, что их сладкий, приторный, конфетный аромат чувствовался на губах и во рту. Иногда откуда-то нас вдруг обдавало на несколько секунд сыроватым холодком, но тотчас же опять мы попадали в душистую теплоту тихой весенней ночи.

Лошади быстро бежали, звучно и равномерно стуча подковами. Мы плавно покачивались на рессорах и молчали. Когда мы были уже недалеко от города, я почувствовала, что твоя рука осторожно, медленно обвивается вокруг моей талии и тихо, но настойчиво привлекает меня к тебе. Я не сопротивлялась, но не отдавалась этому объятию. И ты понял, тебе стало стыдно. Ты оставил меня, и когда я, отыскав в темноте твою руку, признательно пожала ее, твоя рука ответила мне дружеским, извиняющимся пожатием...

Но я знала, что в тебе все-таки заговорит оскорбленное мужское самолюбие. И я не ошиблась. Перед тем как расстаться, у подъезда гостиницы, ты попросил позволения навещать меня. Я назначила день, и вот... прости меня... я тайком убежала от тебя. Дорогой мой! Если не завтра, то через два дня, через неделю в нас вспыхнула бы просто-напросто чувственность, против которой бессильны и честь, и воля, и рассудок. Мы обокрали бы тех двух умерших людей, устроив тайком фальшивый и смешной подлог под прежнюю любовь. И мертвецы жестоко отомстили бы нам за это, поселив между нами ссору, недоверие, холодность и — что всего ужаснее — постоянное, ревнивое сравнение настоящего с прошлым.

Прощайте. Сгоряча я и не заметила, как перешла в письме на «ты». Я уверена, что через несколько дней, когда утихнет у вас первая боль оскорбленного самолюбия, вы согласитесь со мною и перестанете сердиться на мой неожиданный отъезд.

Сейчас в дверь вошел швейцар и прозвонил первый звонок. Но теперь я уже уверена, что устою от искушения и не выскочу из вагона...

И все-таки наша короткая встреча уже начинает в моем воображении одеваться дымкой какой-то нежной, тихой, поэтической, покорной грусти. Знакомо ли вам это чудное стихотворение Пушкина: «Цветы осенние милей роскошных первенцев полей... Так иногда разлуки час живее самого свиданья...»?

Да, мой дорогой, именно осенние цветы! Приходилось ли вам когда-нибудь поздней осенью, в хмурое, дождливое утро, выйти в сад? Деревья — почти голые, сквозят и качаются, на дорожках гниют опавшие листья, везде смерть и запустение. И только на клумбах, над поникшими, пожелтевшими стеблями других цветов ярко цветут осенние астры и георгины. Помните ли вы их острый травяной запах? Стоишь, бывало, в странном оцепенении около клумбы, дрожа от холода, слышишь этот меланхолический, чисто осенний запах, и тоскуешь. Все есть в этой тоске: и сожаление о быстро промелькнувшем лете, и ожидание холодной зимы со снегами и с воем в печных трубах, и грусть по своему собственному, так быстро пронесшемуся лету... Милый мой, дорогой, единственный! Совершенно такое же чувство владеет теперь моей душой. Пройдет еще немного времени, и воспоминание о нашей последней встрече станет и для вас таким же нежным, сладким, печальным и трогательным. Прощайте же. Целую вас в ваши умные красивые глаза.

Ваша З.